

Василий Белов

ЗА ТРЕМЯ ВОЛОКАМИ

1

Утром майор побрился и сменил зеленую форменную рубашку, с удовольствием выпил чай и рассчитался с проводником тоже с удовольствием и ощущением праздника. Поезд остановился в лесу, невдалеке от станции. Майор взял чемодан и вышел в тамбур. Необычная тишина утра и запах мокрой травы и деревьев поразили его, он спрыгнул на песок. У самого полотна белели солнцеобразные ромашки, лиловел иван-чай. Дальше, сразу за дренажной траншеей, начинался осинник, и оттуда слышались тонкие синичьи голоса.

Майор давно не знал такой тишины. Ему было странно и радостно. Привыкший к никогда не стихающему гулу двигателей, он словно дышал этой первородной тишиной и сенокосным воздухом, совсем не похожим на тот воздух, в каком приходилось ему летать.

Паровоз легонько гуднул и зашипел белым паром. Вдоль по составу прошел стук буферов. Майор на подножке доехал до станции.

Вокзал был новый, каменный, а на перроне, засыпанном черным мелким шлаком, было пустынно.

Он вошел в зал ожидания, огляделся. Здесь, пожалуй, все как и прежде.

Тот же бачок без воды и с алюминиевой кружкой на железной цепи, те же деревянные диваны с внушительными буквами МПС и, что всего интереснее, тот же дурачок

Митя дремал на одном из диванов. Майор сразу узнал его, хотя Митя namного постарел. На засаленном отвороте полосатого Митина пиджачка по-прежнему сверкали всякие значки: старинный МОПР и бог знает откуда взятые значки московского Праздника песни и Всемирного форума молодежи.

Митя пробудился, зевнул и попросил закурить, потом подтянул стянутые проволокой штаны и вышел.

Майор вспомнил, как первый раз приехал на станцию и как станционные ребята дразнили (тогда еще молодого) Митю из-за оград, кидали в него палками и пели:

Митька дурак,
Навалил на табак.

Почему именно на табак, майор не знал и посейчас, но тогдашняя жалость к Мите кольнула сердце: неужели он все так же ночует на вокзале, кормится обедками, ездит с дачным?

Шумно вошли пассажиры, приехавшие с другим поездом. Молодая модница, брезгливо поджав губы, подостлала газету и уселась на том диване, на котором ночевал Митя. С нею был военный, тоже офицер; втащила также толстая тетка с несколькими багажными местами. «Места» были зашиты в холстину, исписанную химическим карандашом, тетя ревниво поглядывала за поклажей.

— Товарищ военный, сколько-то у вас времечка? — обернулась она к майору. — Ну вот, рано еще, а как теперь попадать, и не знаю. Дорога-то, говорят, хорошая, а вот машины-то ходят ли.

— Вам куда надо-то? — спросил майор, с улыбкой подстраиваясь под забытое северное токанье.

— В Негодяху, Подсосенского сельсовета.

— Значит, мы с вами до половины попутчики, мне надо в Каравайку.

— Да чей будешь из Каравайки-то? — сразу обрадовалась толстуха. — Не Одря Тилимы зять?

— Нет, не Тилимы, — улыбнулся майор и объяснил, чей он будет.

— А я в Архангельском живу, уже девятый год с Петровадни, а в Негодяхе у меня дом, да и баня не продана. А везу дрожжей. Ты-то где нонь живешь? — тараторила толстуха, доверительно перейдя на «ты» и словно зная, где майор жил до «нонешнего».

— На Урале, мамаша.

Майору было смешно, и грустно, и радостно. Он оставил чемодан под присмотром тетки и пошел к чайной, где, по его предположению, легче всего можно поймать машину. Чайная только что открылась. Здоровый парняга в кирзовых сапогах, кряхтя, перекатывал бочку через порог.

— Пивко али квас? — спросил у парня какой-то старичок с корзиной.

— Морс.

В чайной, около засиженного мухами фикуса, под картиной, изображавшей когда-то графин, виноград и разрезанный арбуз, сидел Митя-дурочок. Увидев майора, он сразу ушел.

— Чего это он? — спросил майор у буфетчицы в чепчике.

— А не знаю. Он военных боится. Милиционеры его с вокзала все гоняют, так он думает, и вы милиционер.

Буфетчица рассказала, что машины в Подсосенье ходят, что позавчера ушло две, повезли два кузова водки, а будут ли сегодня, она не знает. Объявился еще один попутчик — молодой беловолосый парень, ехавший в отпуск к отцу.

— Второй день сижу караулю, — сказал он, — хоть обратно уезжай.

Тогда майор направился в райком, надеясь на то, что там есть какое-либо совещание, а значит — и люди из Подсосенья. Он вошел в вестибюль. Около раздевалки сидела то ли уборщица, то ли дежурная.

— Ты, батюшко, к секретарю али к Олександру Ефимовичу? Ежели к секретарю, так в эти двери, а Олександра-то Ефимовича в область вызвали.

Майор не стал спрашивать, кто такой Олександр Ефимович, и пошел к секретарю. В приемной он поздоровался с машинисткой. Видя, что майор сел и ждет, она скороговоркой произнесла:

— Николай Иванович занят. У него бюро. Придите попозднее.

— Мне, собственно, его не надо. Я хотел узнать, нет ли в райкоме кого-нибудь из Подсосенья? Уехать.

Оказалось, что на бюро вызывали председателя колхоза, но он не приехал — по слухам, заболел. Машинистка посоветовала майору сходить на базу райсоюза. В вестибюле он спросил у бабушки, где размещается райсоюзская контора.

— А вот, батюшко, — как будто даже обрадовалась баб-

ка, — вот, батюшко, пойдешь по мосточкам, да только через лавинку перейдешь, тут кряду и будет улица, ты по ей и иди и иди, а как дойдешь до магазина, где промтовары-то, там и будет райсоюз, на втором этаже.

— Там же военкомат был.

— Ой, милой, давно там был военкомат, давно. После военкомата-то тамotka маслопром сделали, а потом заготовлено было с райтопом, после заготовлено-то перевели на другую квартиру, а вместо ее сделали милицию с загсом, да этим тамotka не понравилось, вот и перевели их опять на другое место, а после милиции была там эта... как ее, по квитанциям-то все?

— Сберкасса, что ли?

— Вот, вот, батюшко, сберкасса, после ее вдругорядь переместили, на то место, где, может, помнишь, заготовлено жил, а потом-то...

Майор, едва не расхохотавшись, прервал бабку вопросом, как зовут председателя райсоюза. А бабка как будто только этого и ждала. Она с еще большей тщательностью начала рассказывать, майору поневоле пришлось присесть.

— ...а когда, батюшко, сняли с поста Жеребцова-то, заведующим дорожным делом был, покойная головушка... как сместили за пьянку-то, так вместо его кряду и учредили Василия Степановича, а за Василием-то Степановичем заступил Дружинников, забыла имя-отчество, памяти-то не стало, батюшко, это который в райфинотделе сидел, высокой такой, представительной, а на еванное место и поставили Олексия Ивановича, а Олессию-то Ивановичу, видно, не по нраву эта должность была, вот его и поставили начальником по всем налогам, а потом кряду и перевели в область, а после этого на заготовлено понизили, ну, а Тяпин-то в те поры с Кавказу приехал...

Так и не распознав, кто теперь председатель райсоюза, майор вышел из райкомовского вестибюля. Добрая старуха еще долго вослед рассказывала дорогу.

Было уже одиннадцать часов, и солнце пригревало по настоящему. Столбы пыли, поднятые машинами, разносило ветром на прохожих, на деревянные домики с палисадами. Ребятишки около чайной кидались кепками. Тут же ходили чьи-то курицы, проехал на велосипеде парень с удочкой, прогрохотал мимо трактор.

Все-таки надо было думать о транспорте, и майор, ощущая почему-то наплыв своеобразного мальчишества, за несколько прыжков преодолел скрипучую райсоюзозовскую

лестницу. Однако машины в Подсосенское сельпо не предвиделось.

— Сходите на маслозавод, там иногда ходят машины, — сказала одна из райсоюзовских девушек, с любопытством приглядываясь к майору. — Туда можно позвонить, подождите минуточку.

Девушка быстро соединилась с маслозаводом:

— Але, Катя? Как живешь-то? Да ну... полно. Неужели?.. Слушай, Катя, от вас машина не пойдет в Подсосенье за молоком? Не знаешь? Может, и пойдет? Ну ладно. Что? Да вот тут один товарищ интересуется.

Девушка положила трубку и посоветовала сходить на маслозавод.

Около маслозавода, куда майор с трудом прошел в ботинках, было оживленно. Где-то внутри монотонно гудел сепаратор, весело перекликались широкобедрые в белых халатах работницы, гремели флягами. У крыльца стоял еще новый «ГАЗ», весь от колес до ветровых стекол в ссохшейся грязи, как в панцире. Шофер, подостлав свою фуфайку прямо в грязь, возился под машиной. Майор спросил у него, что случилось.

— Сцепление спалил. По таким дорогам только чокнутые ездят, — отозвался парень.

— А что, в Подсосенье не собираешься ехать?

— Посылают, да не поеду. Цепей нет. А туда и с цепями только дураки ездят.

Парень вышел из-под машины и сердито бросил ключи под сиденье. На крыльцо вышел неопределенного возраста мужчина в коричневой вельветовой толстовке и при галстук с громадным узлом. Он кивнул майору, обратился к шоферу:

— Ежели не поедешь, дак прямо и скажи, а ежели ехать, дак надо ехать. Волынку, понимаешь, тянуть нечего!

— А цепи-то я рожу, что ли? Где цепи-то? — обозлился шофер, но дядечка в галстук уже скрылся в конторке. — Вот буржуй чертов! — ругался парень. — Знаю наверняка, что цепи есть новенькие на складе, а не дает, жмот.

— А я гу, что цепей нет! — высунулся в окошко дядечка в галстук. — Кто тебе набарахвостил, что есть цепь?

И захлопнул окошко. Шофер плюнул и сел курить. На крыльцо вновь вышел дядечка в галстук.

— Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи...

— Цепи дашь — поеду.

- Нету цепей.
- Есть цепи!
- Я гу, что нету!
- Есть! Сам видел, когда прокладку брал.

Помолчали. Майор не проронил ни слова, с любопытством ожидая, чем кончится этот поединок.

- Я гу, ехать, дак ехать, а не ехать, дак так и скажи.

Шофер отвернулся, всем своим видом изображая глубокое презрение. Дядечка в галстук не выдержал и заковылял к складу. Через минуту он вытащил цепи из ворот и молча ушел в свою конторку. Обрадованный парень затоптал окурок и, скаля белые зубы, прокричал вслед дядечке:

- Ладно, дядя Костя, я тебе боровиков привезу. Припасай бутылочку только!

Парень на ходу шлепнул замешкавшуюся дивчину и начал надевать цепи. Майор взял с него слово, что он заедет в чайную, и пошел на вокзал за чемоданом.

Не доходя до вокзала, он встретил милиционера, который козырнул ему и остановился.

— Товарищ майор, это не вы сегодня с восьмичасовым приехали? Там тетка хай подняла. Вы ей чемодан оставили, она ждала, ждала, да и взбесилась. «Может быть, говорит, у него бонба какая в чемодане, а я и отвечай». Зайдите, возьмите чемодан и плащ у дежурного.

Сержант опять козырнул и пошел не оглядываясь, а майор направился в милицейскую дежурку за чемоданом и плащом.

2

Никогда не забыть эту дорогу тому, кто узнал ее не понаслышке. Она так далека, что если не знаешь песен, лучше не ходи, не ездь по ней, не поливай потом эти шестьдесят километров. Она и так до подошвы пропиталась, задолго до нас, потом, и слезами, и мочой лошадей, баб, мужиков и подростков, веками страдавших в этих лесах. Люди сделали ее как могли, пробиваясь к чему-то лучшему. Вся жизнь и вся смерть у этого топкого бесконечного проселка, названного большой дорогой. К большой дороге от века жмутся и льнут крохотные бесчисленные деревеньки, к ней терпеливо тянутся одноколейные проселочки и узкие тропки. О большой дороге сложены частушки и поговорки. Всё в ней и всё с ней. Никто не помнит, когда

она началась: может быть, еще тогда, когда крестьяне-черносошники рубили и жгли подсеки, отбиваясь от комаров и медведей, обживая синие таежные дали.

До войны большая дорога была совсем не такой по сравнению с нынешней. Она мучила людей еще больше, но почему-то в разговорах всегда получается так, что раньше дорога была интереснее. Тогдашнюю дорогу вспоминают с величайшим уважением, даже с преклонением:

— Ноне что. Ноне сел на машину, а ввечеру уже и на станции. А раньше выезжаешь с ночлегом, бывало, и не с одним. Да коли живой возвернешься, так и ладно. А нонь что? А ништо, вот што. Так, одна гулянка, а не дорога.

Майор думал о детстве. Сколько ходил и ездил он здесь, сколько было натоптано белых водянистых мозолей! Выходишь из дому сытым и молодым, возвращаешься голодным и возмужавшим. Детство и краешек юности прошли на этой дороге; на одном конце ее стоит деревенька и старый сосновый дом, на другом — желтый вокзал станции, откуда расходились пути по всей земле.

...Машина гудит так, что ее жалко, как живую. В кузове притихшие пассажиры: толстуха с дрожжами, беловолосый парень и невесть откуда взявшийся мужчина в соломенной шляпе и с чемоданами. Кроме того, на самом неудобном месте ехал парнишка в сереньком хлопчатобумажном костюмчике и в кепке блинком. Пока ехали по ровному месту, толстуха завязала разговор с беловолосым. Она выведала у него тотчас же, что он едет в деревню, что женился недавно и едет за женой, чтобы увезти ее в Липецк.

— Да каково там со снабжением-то? — спросила она напоследок и замолкла до поры.

— Безобразие! — возмущался мужчина в соломенной шляпе. — Спутники строим, а по дорогам ни пройти, ни проехать!

— Что ж, по-вашему, спутники — это ерунда? — отозвался новоженя, как окрестила толстуха беловолосого.

— Я не говорю, что ерунда.

— Ох-хо-хонюшки! — зевнула толстуха. — А кого это в кабину-то посадили? Начальство какое?

— Не, — сказал парнишка, — это дяденька, из больницы только что выписался. Он выйдет за этим волоком.

— Как тебя зовут? — спросил майор у парнишки.

— Николаем, — чуть смущаясь, ответил тот.

— Коля, Коля, Николай, наших девок не пугай, —

сразу же сказала толстуха.— Что, поступать куда ездил?

— Не. За метриками.

— Тоже небось из колхоза удрать норовит,— обернулся соломенная шляпа.

— То есть как удрать,— заступился за мальчишку новоженя,— ежели парень учиться хочет?

— Все будут учиться, а кто будет землю обрабатывать?

— Вы сами тоже, наверное, уехали из деревни.

— Я еще до войны уехал.

Машину сильно тряхнуло, и разговор прекратился. Дорога стлалась по большому, обросшему ольшаником полю. Несмотря на сухую погоду, в затянутых травой кюветах блестела вода, оставшаяся после недавних дождей. Шофер ловко и смело лавировал между большими дорожными яминами и, только когда миновать их было уже никак нельзя, пер напралом, рискуя сесть диффером.

Майор знал, что это еще хорошая дорога. Там, вдалеке, где виднелся гребешок леса, начинался Вепревский волок — одно из самых гиблых мест дороги. Туда, к лесному гребню, уже склонялось по-июльски жаркое солнце. Пахло лугами. Даже запах бензина и масла машины не мог заглушить этого ровного лугового запаха, сложенного из ароматов желтого багульника, розового клевера, ромашки и сотен других трав, разморенных тишиной и солнцем. Мелькнула светлой гладью речка с полуразрушенной сеновней на берегу, потом деревня в три дома и с одним амбаром. На воротах амбара красовались три угловатые буквы русского алфавита. Традиционная надпись была сделана то ли дегтем, то ли колесной мазью, картину завершал внушительный восклицательный знак, подставленный уже мелом кем-то, вероятно, другим. Майор не мог вспомнить название деревни.

На бугре машина остановилась. Шофер вышел из кабины и два раза обошел вокруг, пиная в скаты стоптанным сапогом и пробуя крепление цепей.

— Ну, теперь держитесь да помалкивайте,— сказал он и решительно хлопнул дверкой.

Толстуха переложила чемодан с дрожжами поближе. Соломенная шляпа высморкался, парнишка оживился, а новоженя докурил папиросу и откашлялся.

В коробке передач по-волчьи завывало. Первую рытвину проскочили благополучно, вторую тоже, но рытвины были на каждом шагу, и вскоре левое колесо яростно забуксовало. Отбрасывая целый фонтан жидкой грязи, оно изред-

ка цепью цеплялось за что-то, и машина чуть сдвинулась, дрожа всем корпусом, перевалилась в другую, не менее жуткую выбоину. Теперь забуксовали уже оба колеса.

Парнишка выскочил из кузова и начал бросать под колеса остатки перемолотых кольев и веток, они дымились под скатами. Минут через пять продвинулись еще на полметра, и вновь колеса забуксовали. Шофер начал подкапывать скользкий грунт, подъехали еще метров десять и остановились. Перед радиатором блестела громадная лужа, целый пруд молочно-серой воды. Шофер решительно включил третью скорость, с силой выкручивая вырывающуюся баранку, ринулся напрямую, тут же переключил скорость, неистово газанул, машину замотало во все стороны, все с тревогой притаились в кузове. Дрожа и жалобно воя, разбрасывая мутную воду, выскочили на более-менее сухое место. Поехали дальше, все облегченно зашевелились.

Майор посмотрел обратно. Метрах в пятидесяти от машины торчала та срубленная береза, от которой началось буксование. А Вепревский волок тянулся на шесть километров. А за Вепревским были еще два волока, не считая многих деревенок, разделенных глинистыми полями и пустошами...

Солнце уже накололось на зубцы дальних потемневших елей, и опять пассажиры понемногу разговорились. Вдруг, проезжая один из мостиков, шофер сильно газанул, но колеса пробуксовали, провалились, и толстуха прикусила язык, заохала, глотая кровавую слюну...

— А ну, вылезай, кажись, влипли по-настоящему! — махнул рукой шофер и пошел в лес рубить вагу.

Не жалея ботинок, новоженя смешно засучил штаны и направился помогать шоферу, майор с мальчишкой также выпрыгнули из кузова. Толстуха поерзала и затихла. Соломенная шляпа, намертво вцепившись в борт, сидел молча.

Шофер с помощью майора и новожени подsunул громадную лесину под одно колесо, мальчишка начал быстро качать домкратом: пока шофер газовал, они толкали машину плечами, но колеса крутились на одном месте и из-под цепей летели только дымные щепки. Солнце между тем совсем закатилось.

Шофер плюнул, достал из кабины хлеб и банку килек в томатном соусе. До ближней деревни оставалось километра три, и все, кроме него и мальчишки, пошли туда но-

чевать. Майор пообещал шоферу попросить трактор в деревне.

Толстуха потащила чемодан с узлом, за ней пошел и соломенная шляпа, также с чемоданом. Новоженя оставил поклажу в кузове и, балансируя снятыми ботинками, ловко прыгал через выбоины.

— Ну, а где ж мы ночуем? — спросил майор.

— Ночевать-то ночуем, — улыбнулся новоженя. — А вот как дальше ехать — это прямо беда.

— Тут, кажется, Марья пускала раньше на ночлег?

— Да она и сейчас жива, у нее и теперь ночуют. По рублю с носа, прежней валютой.

Майор вспомнил Марьино подворье. Уезжая когда-то на станцию обозами, возчики окружали подводами Марьин дом в любой час ночи; и в любой час ночи ставила она громадный самовар, который выпивался немедленно. Ставился вновь, и потом усталые люди отдыхали до первых петухов. Располагались кто где: кто на печи, причем это место считалось самым хорошим, кто на лежанке, затем на лавках, а остальные на полу. Вскоре начинался храп, парни в темноте и под шумок тискали девок, а часа через три вновь скрипели дровни, вновь медленно наплывали на обоз бесчисленные силуэты елей и сосен.

«Неужели все это и со мной было?» — подумал майор. Он отдал чемоданчик новожене и пошел искать бригадир. Мальчишка, который с явным удовольствием, в старых маткиных валенках, ходил по крапиве, показал бригадиров дом. В окошко видно было, как за столом в избе сидел хозяин и дымил сигаркой. Майор остановился у канавки перед крыльцом, чтобы помыть ботинки, и минуты через две вошел в избу:

— Здравствуйте.

В избе почему-то никого не оказалось, только в воздухе слоился свежий махорочный дым. Майор сел на лавку и стал ждать. «Куда он делся? Ведь только что тут сидел», — подумалось майору, и он вышел вновь на крыльцо. Никого. Только грязный гусь с чваканьем выбирал из тазика что-то съедобное. Прошло с полчаса, но бригадир не показывался. «Померещилось мне, что ли? — с улыбкой подумал майор. — Черт знает что!» Он еще раз зашел в избу, и снова там никого не было.

Уже смеркалось. Где-то недалеко отбивали косу, бригадиров гусь трижды трескуче прокричал и тоже скрылся. Майор так ни с чем и пошел, но, заворачивая в проулок,

еще раз оглянулся на бригадиров дом. В окне вновь маячила фигура бригадира.

«Ну, это совсем никуда не годится»,— подумал майор и решительно и быстро пошел обратно к дому, вошел в избу.

Человек с начинающей лысеть крутолобой головой оглянулся, отодвинул кисет. Майор объяснил ему свою просьбу насчет трактора.

— А-а...— протянул бригадир.— А я думал, вы уполномоченный какой. Так вы насчет трактора? Да вот беда, трактор-то наш третий день в другой бригаде. А я вижу, идут, одежда хорошая, думаю, опять какой из района аль из области. Я уж свою тактику применяю: как покажется, так на поветь в сено, к стенке, там и конурка у меня оборудована. А либо, ежели в поле увижу, так в кустики шнырну, чтобы не попасть на глаза.

Майор покурил, подивился и пошел на ночлег.

— Так я вам завтра уж трактор представлю, а сегодня ночуйте. Завтра трактор придет, мы и вытащим вашу машину!— Бригадир долго не закрывал окошко, провожая майора добрым взглядом.

Неизвестно откуда слышался усталый звон кузнечиков. Трава чуть увлажнилась, побелело туманом поле за домами. Тишина была первозданная, и майор, сидя на крыльце, вновь ощущал эту тишину, и это ощущение будило воспоминания.

Соломенная шляпа медленно ходил по деревне. Толстуха громко разговаривала с хозяйкой насчет дрожжей: испортятся или не испортятся.

Вдруг за деревней глухо заурчало. Вскоре мелькнул луч от фары, и машина выкатила из поля. Грохотание и гул мотора отражались от деревянных стен и казались от этого еще более угрожающими, бодрыми.

«Ну и ну!..— подумал майор, недоумевая и удивляясь.— Как это они вдвоем выпутались из той лопухи?»

Дав слово не курить, новоженя и майор пошли спать на сено. Толстуха и соломенная шляпа устроились в избе, сторожа чемоданы, а Коля в ночь пешком ушел домой.

Майор тут же заснул, и картины прошедшего дня мелькали и путались в его обрывочных, давно не виденных, но похожих на прежние снах.

Он проснулся от гула машины. Солнце только что восходило, пели петухи, пахло зеленью и теплым коровьим навозом.

Снова все разместились на прежних местах, и машина опять задымила к лесу.

Майор узнавал места. Вот здесь когда-то лопнула у него тележная ось, тут кормили лошадей, там не могли разъехаться два обоза, из-за чего обозники передрались и порубили друг дружке гужи.

Чем ближе была деревня, тем больше роилось воспоминаний и тем острее была нежность к этой земле.

Раньше майор почти не думал о чувстве родины. За постоянной суетой забот и дел ощущалось только ровно и постоянно то, что есть где-то маленькая Каравайка, и этого было достаточно. Теперь же майор остро и по-настоящему ощущал так несвойственное кадровым военным чувство дома.

Он думал, что, по правде говоря, заботы, и труд, и все, что он делал, имело смысл постольку, поскольку знал, что жил и рисковал иногда жизнью из-за нее, ради этой родины, ради ее людей, и все, что было с ним до этого, наполнилось теперь новым смыслом...

Не успели отъехать от деревни — сели всеми скатами. Шофер, охрипший от мата, вместе с майором пошел искать трактор. Бригадир не обманул, трактор действительно пригнали из другой деревни. Через четверть часа машину вытянули.

— Ну, теперь доедете! — сказал тракторист. — Тут до деревни дорога будет хоть яйцо кати.

В самом деле, дорога началась лучше, и вскоре выехали к «церкви» — центру большого сельсовета. Церкви, собственно, давно не было. Еще в двадцать пятом году местные атенсты спихнули с колокольни громадный колокол, повывкидывали золоченую утварь. С того времени большой белый храм с пятью куполами и шатровой колокольной начали понемногу разламывать: кирпич от церкви греет бабьи бока и до сих пор, звонкий, румяный; говорили, что в глину для этого кирпича примешивали яичный желток, а известь разводили на молоке. От «церкви» майору оставалась как раз половина пути. В этом месте путникам встретилась автомашинна. Шоферы остановились кабина к кабине.

— Куда едете? — спросил соломенная шляпа у встречного шофера.

— На станцию, куда! Не видишь, что ли? — Шофер встречной машины включил скорость.

Соломенная шляпа поерзал, оглянулся:

— Слушай, друг, я тебе заплачу, возьми с собой, поеду обратно.

— Садись!

Соломенная шляпа быстро перекидал чемоданы на встречную машину.

— Ноги моей больше тут не будет, хватит с меня! — бормотал он.

Машина взвыла, и брызгая грязью, отчалила. Толстуха сидела раскрыв рот.

У маслозавода стояла подвода. Ослабив заднюю ногу, у изгороди дремала чалая кобыла, ее нижняя мягкая губа висела от старости. У телеги стояла немолодая крохотная бабенка и глядела из-под руки на приезжих.

— Зеть должен приехать, — обратилась она к шоферу, — не видал, батюшко, зетя-то? Тилиграму давал, что выехал.

— Нету, бабка, зятя! — смеясь, ответил шофер. — Давай замену сделаю, ставь бутылку.

— Ой, полно, батюшко!

— Да какой он из себя-то? — спросила толстуха, слезая на землю. — Не в Сотонику ехал-то?

— В Сотонику, матушка, в Сотонику. Сколько уж дён жду.

— Ну так он сейчас пересел на обратную, уехал!

Лицо бабки заморгало и сморщилось, новый белый передник, надетый по случаю приезда «зетя», она заприkladывала к глазам. Майор видел, как она отвязывала от огорода кобылу, слышал, как запричитала. Толстуха начала успокаивать бабку и развязала чемодан с дрожжами. Вонь от испорченных дрожжей поднялась такая, что даже кобыла оглянулась назад и прижала одно ухо.

Толстухе было по пути с бабкой, она склала чемоданы в передок телеги, и обе женщины уехали.

Майор предложил шоферу деньги. Тот пнул в колесо, пощупал, как сидит цепь:

— Что я, крохобор какой? Не надо ничего.

Тогда майор зашел в сельпо, купил бутылку водки и пряников. Больше в магазине на закуску ничего не было.

— Давай действуй! — Майор подал водку шоферу и сел на лужок.

Шофер достал из кабины стакан и оставшиеся от вчерашнего консервы Молча раскупорил бутылку.

— А где наш новоженя?

В самом деле, где был белобрысый парень? Майор оглянулся. Парень разговаривал с высоким стариком — по-видимому, отцом.

— Товарищ майор, приходите к нам ночевать, если не уедете. Вон наш дом, обшитый, со скворешником! — издалека крикнул новоженя.

— Милости просим, милости просим, заходите, ежели что, — сказал и старик.

Майор пообещал зайти.

Водка была теплая, и он еле удержал ее в желудке. Машину уже нагружали молочными флягами. Шофер допил остатки из бутылки и вскоре уехал. А майор взял чемодан и направился к новожене, потому что транспорта пока не предвиделось, а до Каравайки оставалось тридцать километров.

В просторных чистых сенях пахло свежими вениками и свежим сеном. Двери из сеней в летнюю половину были открыты. Майор снял ботинки и в одних носках по радужным половикам прошел в горницу. За большим столом сидел новоженя с отцом и женой, то и дело краснеющей от смущения. Майора сразу же усадили за стол, бабка нарезала новых пирогов, а старик достал из комода вторую бутылку.

— У нас, товарищ военный, все как дома, сами бывали в людях, — говорил старик. — Вон сын приехал, как тут не выпить?

Майор чокнулся со стариком и новоженей.

— А хозяйка-то что, не выпьет с нами?

— Нет, батюшко, что ты, только ежели рюмочку одну, да и то в чаю, — замахала руками бабка и начала подкладывать пироги.

Комната с белыми сосновыми лавками была оклеена обоями. Старинные образа в углу, заборка с фотокарточками. В открытое окошко слышны были крики мальчишек и мычание коров, звенел над ухом залетевший с улицы комар, и майору было хорошо, как в детстве.

— Ну вот, на то и вывела, а я про что говорю? Ну-ко, давай еще там из шкапа-то. А я, товарищ майор, когда на первую ерманскую пошел, дак тебя, поди, еще и на земле не было. Помню, когда Николай-то слетел, дак вот у нас раздолье было какое на позициях, что начальство и по

утрам нас не будило. Полковник был у нас Фой, вот, значит, пришел к нам Фой, здороваешься, а вся рота как воды в рот набрала. Не поздоровалась, да и только! А Фой этот — сама шельма — молчит, а я взял да и крикнул: «Товарищ Фой, отпустите на пасху домой!» Как он взъелся потом, да и мы уже были учены. Приехал я в Питер, гляжу, афишки на тумбах, так и так, война до победы...

Гармонь тихо наигрывала. Майор дымил папиросой, слушая старика. Бабка ставила самовар уже во второй раз, белая сенокосная ночь кричала луговыми коростелями и словно вздыхала вслед гармонным мехам.

Дед приятным, старчески надтреснутым голосом негромко запел песню. Майор никогда еще не слышал эту песню, ее слова глубинной своей тоской бороздили душу, мелодия была проста и сдержанно-безысходна.

В Цусимском проливе далеко,
Вдали от родимой земли,
На дне океана глубоко
Покойно лежат корабли.

Там русские спят адмиралы,
И дремлют матросы вокруг,
У них прорастают кораллы
Меж пальцев раскинутых рук.

Он пел по-городскому, стараясь не окать, но это не мешало естественности звучания; и казалось, от этого еще сильнее хватает за сердце песня.

Когда засыпает природа
И яркая всходит луна,
Герои погибшего флота
На скалы выходят со дна.

Морские просторы бездымны,
Матросы не строятся в ряд,
Царю не поют они гимны
И богу молитв не творят.

— Это уж самый младший сынок-то, а и у этого вон уже ребенок,— рассказывала старуха.— А другой-то сынок в Москве, а две дочки тоже замужем в Мурманске, а еще сынок тоже на военного выучился, а еще...

— Сколько же, мамаша, всех-то деток вырастила? — спросил майор.

— Шестнадцати, батюшко, шестнадцати. Старших-то четверо в войну сгинули, трое в малолетстве умерли, а де-

вятеро-то, слава богу, добро живут, и денежок посылают, и сами приезжают.

— Ежели всех собрать, так хороший взвод,— рассмеялся новоженя и снова наполнил граненые стопки.— Ну-ко, батя, давай! Держите, товарищ майор!

Майор дрожащей рукою взял стопку. Все в нем смеялось и плакало, голос дрогнул, желваки медленно перекатывались на скулах, хмель почти не действовал.

Между тем батя подзахмелел и достал из-под лавки гармонь. Но играть он не стал, только поприлаживался.

— Давай уж, Олешка, ты...

Новая полосатая рубаха уютно облежала сухую старческую шею и еще крепкие плечи. Вытерев ладонью усы и подмигнув майору, дед спел частушку:

А дролька, пей вино столовое,
Не жалко водки мне,
Только каждую сумеречку
Ходи гулять ко мне.

— Ой, старой водяной,— засмеялась бабка.— Сидел бы, ведь помоложе тебя есть за столом, писни-то пить!

— А что, я ишшо и спляшу, пороху хватит!

Бабка весело заругалась. Новоженя с женой улыбнулись, глядя на захмелевшего отца, а майор курил, смотрел на всех, и на сердце у него было по-новому тепло и счастливо.

— Сколько же тебе, отец, годов?

— А-а-а, парень, много уже накачал, с Ивана-то Постного вроде восемьдесят шестой пошел.

— Полно,— вступилась бабка,— да ты ведь на шесть годов меня старше, а мне в Медосьев день семьдесят девятой пошел.

Лишь тихо ведется беседа,
И, яростно сжав кулаки,
О тех, кто их продал и предал,
Всю ночь говорят моряки.

Они вспоминают Цусиму,
И честную храбрость свою,
И небо отчизны любимой,
И гибель в неравном бою.

«Откуда такая грусть в стариковском голосе? Кто сложил песню, и где я, и что со мной?..»

Майор сидел за низким деревенским столом, опершись

на кулак; на самоварной ручке висел его зеленый форменный галстук, потухшая папироса торчала из кулака около самого уха.

— А вот «камаринская» нового строя, при Керенском певали-притопывали.— Старик растянул гармонь, аккомпанируя самому себе, запел весело:

Как у матушки России все вольно,
Уже нет царей, продавцев за вино.

Милюковых и Гучковых нет давно,
Все по-новому в Россее введено.

Все министры у нас новые теперь,
Только старые порядки без утерь.

Как в Россее теперь нету мужиков,
А полно лишь казнокрадов и воров.

Мужиков-то переделали в граждан,
А прав гражданских и не дали мужикам.

Мужики-то протестуют и кричат,
Что войну уже давно пора кончать.

Министры в Англии-то золото берут,
А мужиков-граждан в солдаты отдают.

Дед совсем захмелел. Старуха, незлобно ругаясь, отняла у него гармонь, а он все пел и пел... Бабка разобрала для майора никелированную кровать в горнице, сказала: «Спи, батюшко»,— и вскоре все в доме заснуло.

Майор вышел на улицу, открыл дверку в огород. Туман совсем затянул реку, зеленели за огородом свежесметанные стога. Вдали заржал жеребенок, ему сдержанно и успокаивающе ответила мать. Проскрипел запоздалый журавель колодца, молодой петух, не разобравшись в чем дело, встрепенулся на насесте, хлопнул крыльями, хотел проорать зарю, но одумался, и все затихло.

4

Майор проснулся от щелчка в репродукторе и долго не мог вспомнить, где он. Передавали последние известия. Он лежал с закрытыми глазами и слушал, как по улице гнали стадо. Он давно так много не пил, но странно, голова не болела, дышалось легко и в желудке не было неприятной пустоты. Он вскочил с кровати и тут только вспомнил, что до Каравайки осталось всего тридцать километров.

Позади было два волока, впереди остался один, да и тот знакомый до последнего пня. Косое солнце тепло и щедро лилось в окно, на березе чирикали воробьишки. Майор нашел рукомоייник, но вдруг услышал, как прервалась московская передача.

— Вниманье! — слышалось дальше, и майор чуть не расхохотался, так непохоже и странно прозвучало из репродуктора это слово. Диктор окал так уморительно, что майор, боясь проронить хоть слово, на цыпочках пошел к простенку, где висел репродуктор.

— Вниманье! Говорит местный радиоузел колхоза «Победа». Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются, что такое самоуправство. Разъясняём. Самоуправство — это самовольные всякие меры на ущерб колхозу, чтобы всячески расхищать колхозное имущество, особенно сено. Так, например, колхозница пятой бригады Иванова Екатерина Трофимовна унесла с колхозного поля ношу сена. Правление колхоза оштрафовало Иванову на двадцать рублей в новых деньгах. Вниманье! Передаем ответы на вопросы. Некоторые товарищи интересуются...

Все повторялось сначала, и майор долго не мог погасить улыбку. Но что-то знакомое слышалось ему в имени колхозницы. Екатерина. У Кати тоже было такое же отчество. Это имя коротким сладким уколом кольнуло в сердце, и майор вспомнил, как перед войной провожал ее с деревенских гулянок, как стоял с ней у мельницы и, не зная, что говорить, кидал в плесо дорожные камушки...

Пока хозяйка разогревала самовар, майор сходил на речку, зашел в огород. Дед налаживал косу, добродушно переругивался со старухой:

— Ну и что? Эко место, в квашню вляпался. Может, еще и пироги-то не вышли бы.

— Сиди, водяной, — без злости махала рукой бабка, — мне теста не жалко, а ты, идол, всю печь тестом испохабил!

Новоженя тоже хохотал над отцом, который, как оказалось, полез вчера на печь и по пьяному делу нечаянно кувырнул квашню.

Когда вскипел самовар, разговор опять же вертелся около ночного происшествия, и майор от души смеялся вместе со всеми.

Старик еще рано утром узнал, что сейчас в пятую бригаду пойдет трактор, а это майору было по пути.

— Олешка! — крикнул дед сыну, когда отпили чай.—

Вынеси чемодан-то да травы подстели, а то сани навозные.

Новожепя вынес чемодан, и вся семья распрощалась с майором.

— Дак не будет, говоришь, войны-то? — спросил старик, оборачиваясь в последний раз, когда трактор уже взревел двигателем.

— Не должно, батя...

— А то все войну сулят. Хоть и не первый дождь на голову, а не надо бы, парень... Всем крышка. Ну, ежели что, обратно поедешь, заходи ночевать, места хватит, заходи...

Он еще долго смотрел на майора. Трактор, грохоча, выехал за деревню.

Пошел третий день после того, как майор сошел с поезда. Он улыбнулся контрасту: от Ялты до Москвы три часа, а шестьдесят километров от станции до деревни — три дня. Но и в этот день он не добрался до своей деревни.

В конце волока дорогу пересекала болотистая речушка. Мостик через нее топорщился обломками бревен. Тракторист решил ехать через речку. Черная болотная грязь полетела от гусениц, трактор, дергаясь и поднимая кусты, двинулся напропалую. Надо было брать чуть левее, правая гусеница, буксуя, зарылась в жидкую землю. Чем больше газовал тракторист, тем глубже. Сани оказались в воде. Майор уже через полчаса был весь в грязи. Они провозились в речушке до самого вечера, пока не подошел другой трактор и не помог выехать. Странно было одно: трактористы совсем не нервничали, принимая все как должное.

Остановились у разломанного гумна, закурили. Собиралось ненастье, изломы молний сверкали на черно-синем небе с востока. Гремело все сильнее и чаще. Деревню майор знал, но, по его предположению, знакомых никого в ней не жило. Тракторист был тоже нездешний — шефский.

— Утро вечера мудренее, кобыла мерина ядренее, — сказал он. — Пошли ночевать в сеновню. Вот беда, пожрать бы немного. Пойду молока хоть поищу.

Дождь был все ближе. Мимо гумна, размахивая вожжами над головой, проехал парнишка в телеге.

— Коля! — окликнул его майор. — Ты, что ли?

Парнишка остановился. Это был как раз тот Коля, что ехал позавчера со станции вместе с майором. Он возил дрова к овину и сам пригласил майора переночевать.

— Мама еще на сенокосе, скоро придет,— сказал он, отпирая ворота, и пошел выпрягать лошадь.

Майор внес чемодан по лестнице. В доме было чисто и сумеречно. Не зная, что делать, он спустился на крыльцо, сел на обрубок под навесом. Теперь небо стало совсем темным, гром трещал над самой крышей, молнии зеленым светом разрывали темноту. Пошел дождь. В это время женщина с косой и корзиной поспешно открыла отводок загороды. Увидев майора, она приставила к стене косу, остановилась:

— Что-то не могу и узнать кто.

Майор встал, она что-то еще сказала, но гром заглушил ее слова, а он весь вздрогнул от волнения и невыразимой, сразу охватившей его тоски и застарелого разбуженного счастья.

— Я с Колей со станции ехал. Заночую у вас...

— А-а,— согласно протянула она,— заходите.

И уже поднималась в темноте по лестнице, а он, волнуясь еще больше оттого, что она не узнала его, шел двумя ступенями позже ее, спросил:

— Вас не Екатериной звать?

— Катериной,— просто ответила она.— Я сейчас лампу зажгу. Вы-то откуда знаете, как меня зовут?

Майор ничего не ответил. Она вздула огонь, зажгла лампу; не глядя на него, задернула занавески, успев на ходу зашпилить мокрый узел волос на узеньком затылке. Она была еще красива, красива последней бабьей красотой, а движения ее были такими же, девичьими, что майор остро и с нежностью ощутил, когда, не двигаясь, глядел на нее. Она почувствовала его взгляд и только теперь сама посмотрела на него:

— Ой, Ваня ведь. Иван! Ох, милые, да как это?.. Не могу и узнать...

Она растерянно и радостно смотрела на него, то на его вымазанную глиной одежду, а он тоже смотрел на нее, беззвучно счастливо смеясь и дрожа плечами, и смех этот был одновременно выражением его счастья и скорби по тогдашней Кате.

Опомнившись, она кинулась к самовару, начала щепать лучину. Свежей воды не оказалось. Сбегала за водой и, вся мокрая от дождя, начала разжигать, дуть в самовар, накинула на стол чистую скатерть.

Все еще шел дождь, но гром уже выдыхался и терял силу. Вбежал в комнату Коля, бросил к порогу узду и, слов-

но не замечая майора, взял кусок пирога с залавка, наладился уйти снова.

— Кино привезли в Антониху!

— Куда ты пойдешь, куда на таком дожде!

Но он, не слушая мать, уже стучал по лестнице.

Она поставила самовар и, накинув платок, тоже убежала. Минут через десять вернулась, оберла полотенцем зеленую бутылку водки, поставила на стол.

Гроза совсем затихла, лампа тихо потрескивала, на столе мелодично звенел самовар с чайником на конфорке. Катя выставила одну стопку, майор вопросительно, с улыбкой взглянул на нее, и она выставила вторую:

— Много уж годов не пивала...

Она закашлялась, замотала головой, отодвинула недопитую стопку, но потом выпила, лицо покраснелось, темные большие глаза подернулись поволокой.

— Как живу? Так и живу с парнем, сама-другая. Ты ведь тогда, как на фронт уехал, так больше и не бывал дома. Замуж-то вышла уж после войны... Хозяин восьмой год в заключеньи, ни письма, ни грамотки. Напились один раз да с бригадиром и разодрались. Мой-то горячий, схватил с гвоздя ружье да к бригадирову дому, с улицы в окошко выстрелил, две дробины попало в портрет, приписали особую статью. Теперь уж сгинул, видно. Ждала, ждала, все и жданки вышли. Нынче вот и Коля в ремесленное ладит уехать. Сперва не пускала, думаю, что буду одна делать, а он просится. Пусть уж едет, дома все равно ему не житье, корову и ту кормим с грехом пополам. Третьего дня принесла из поскотины охапку, и то оштрафовали да ославили...

Майор открыл занавеску, распахнул окошко. Ночь была по-осеннему темна; он слышал, как в палисаднике с веток падали редкие дождевые капли, в деревне не было ни одного огонька.

Когда он снял ботинки и подал ей китель, она заплакала. Они вышли с лампой в темные большие сени; она, не обтирая слез, откинула полог постели и унесла лампу в дом. Вскоре она вернулась к майору, молча погасила слезы и, сдерживая бабью тоску, обвила рукой его седеющую голову:

— И откуда ты взялся-то, Ваня, разудалая твоя голова, откуда?..

«Ваня, разудалая твоя голова» — эти слова старой протяжной песни были сказаны шепотом. Они оборвались, и майор ладонями осушил Катины щеки.

Далеко за волоками все еще урчал гром ушедшей ночной грозы, внизу тяжело вздохнула корова, в гнезде под стропилами крыши сонно прочирикали и затихли ласточки.

Этот последний волок был знаком ему каждой своей горушкой, обсыпанной сухими скользкими иглами. Знаком каждым камнем, обросшим жесткими лишаями, каждым поворотом большой дороги.

Протоптаные скотом тропы не давали заблудиться и каждый раз выводили его к большой дороге. Он нарочно шел по ним, часто останавливаясь, чтобы сорвать ягоду, послушать лесной шум. В чащах, как в сказке, глухо и музыкально звучало ботало, сухо брякало о дерево дятел, жалобно и нехищно кричал ястреб-канюк.

Майор снял ботинки, выломал ольховую палку, чтобы легче было нести чемодан. Вот так он ходил когда-то домой со станции, и его встречала на пороге мать; так же ходил и отец, и дед, и прадед...

Все было здесь знакомо. Только подзаросли кустами светлые когда-то полянки и не стало толстой густой сосны, росшей у речного обрыва. По преданию, много лет назад эта сосна спасла деревню от шайки разбойников, забредших сюда в смутное время. Она была так густа, что из-за ее кроны насильники не увидели жилья и повернули обратно. Теперь она упала от грозы, и ее жгут прохожие, кому не лень; много лет не могут никак сжечь, головешки и сейчас валяются на обрыве.

Сам обрыв был все таким же. Майор спустился вниз, остановился около мелкого песчаного брода и лег в траву, на спину.

До Каравайки — родимой деревни — оставалось два километра. Четыре последних дня отодвинули в небыль все то, что было до этого, и это все: служба, аэродром, мегафонный шорох, свист двигателей — казалось таким дальним, почти нереальным. В памяти появлялись то толстая тетка с дрожжами, то вокзальный дурачок Митя, то слышалась матросская песня отца новожени, то снова ощущение поздних горьких Катиных поцелуев. Он торопился, и Катя сама на рассвете почистила ему китель и брюки, сама ходила к бригадиру и запрягла лошадь, сама проводила его до прогона. Коля выломал тогда ивовый прут и стукнул по телеге, а его мать постояла еще немного у отвода.

— Может, зайдешь на обратной дороге-то? — сказала она.— Да и в Каравайке никого нету, и из списков ее, наверно, уже вычеркнули.

Но она тут же застеснялась своих слов, покраснела и, опустив голову, решительно пошла от отвода; немногочисленные косцы с косами и граблями уже выходили из домов, окликая друг дружку... Майор вспомнил, что она ничего больше не просила у него, ни на что не обижалась: и он к полудню, не доехав до деревни километров шести, отпустил Колю, пошел пешком и шел до этого обрыва.

Майор не знал, сколько времени лежал он в траве у речного брода, под песчаным обрывом. Трава после вчерашнего дождя давно обсохла, в лесу и в кустах пели птицы: сиреневые, с белыми оборками облака тянулись к западу.

Три волока отделяли майора от шумного и большого мира. Его никто не окликнул, никто не встретил. Он то смотрел в небо, то опять закрывал глаза и не торопился вставать, отодвигая счастье встречи с деревней. Каравайка была в двух километрах отсюда. Он думал о том, как задами, через прогон выйдет к гумнам, потом к баням и травяным огородам выйдет к дому, в котором жила соседка — дальняя родственница матери, как переоденется в спортивный костюм и затопит баню, как ночью услышит звон комаров, а утром проснется на сенном перевале от петушиного крика.

Он вскочил и с волнением хотел закурить. Но папиросы кончились, кончился и теплый день, солнце закатывалось. Майор с наслаждением, крикая, напился речной воды, перешел босиком на свой берег.

Дорога шла вдоль реки. Впереди, там, где были деревни, садилось красное солнце. Пока он шел до поля, солнышко покраснело еще больше и наполовину скрылось за далеким лесом.

В речных омутах по-вечернему закурилась вода, из кустов потянуло нагретой зеленью.

В поле он вышел уже в то время, когда сумерки помутили теплую летнюю даль с ее пояском окрестных лесов и недвижной пеной полевых кустиков.

А вот и первая деревня — Помазиха. Это здесь, в Помазихе, майор на каком-то празднике осмелился поплясать в первый раз. И все девушки вместе со старшей сестрой сбежались и смотрели. Дорога вильнула в объезд деревни, обогнула клеверный бугор. Показался другой холм, с пятью

темными соснами. На эти сосны майор вместе со сверстниками лазал когда-то за вороньими гнездами, а вечерами под осень пек здесь первую, с еще не окрепшей кожурой картошку. За соснами было небольшое поле, а там косогор и родимая Каравайка.

Майор шел все быстрее, не замечая этого, и все хватался за карманы, ища папиросы.

Вот позади и Вороньи сосны, травяная тропа выпрямилась, незаметно перешла в колесную дорогу, и он выбежал на косогор.

Каравайки на косогоре не было.

Ночь пришла тихая до звона в ушах. Золотым блином висела в небе луна, но было светло и так, и от стожка, сметанного посередине бывшей деревенской улицы, почти не виделось тени. Только вокруг этого стожка лежала ровная лужайка, а дальше везде дремала густая трава, а в траве то там, то тут принимались звенеть кузнечики и сразу же затихали, словно боясь нарушить тишину. Кругом была трава и поле. И лишь березы у будто невидимых домов белели, да старинный хмельник еще бодро топорщился пиками нескольких кольев, и хмель, словно назло безлюдью, упрямыми спиралями вился кверху.

Уже второй и третий раз открякал в низине дергач, а майор все сидел на горушке, оставшейся от родного опечка. Опечек сгнил, его засыпало размокшей от ливней глиной, из которой сбита была печь; на горушке рос высокий кипрей и крапива.

Кипрей был так высок, что старые фамильные кросна, стоявшие рядом, на земле, почти скрывались в его оранжево-розовых соцветиях. На этих кроснах бабка майора ткала холсты, на этой печке родился ее внук, по этой улице впервые, замирая от восторга, прошел он за ребячьей гармоньей...

Но Каравайки больше не было на земле.

Где-то за тремя волоками неслись поезда и свистели ракеты, а здесь была тишина, и майору казалось, что он слышит, как обрастают щетиной его напрягшиеся скулы.

Опять покрякал дергач, а луну пополам разрезало плоское слоистое облачко. Никто не услышал, как на гулкий широкий лист лопуха, теряя свинцовую свою тяжесть, бухнулись две холодных слезы.